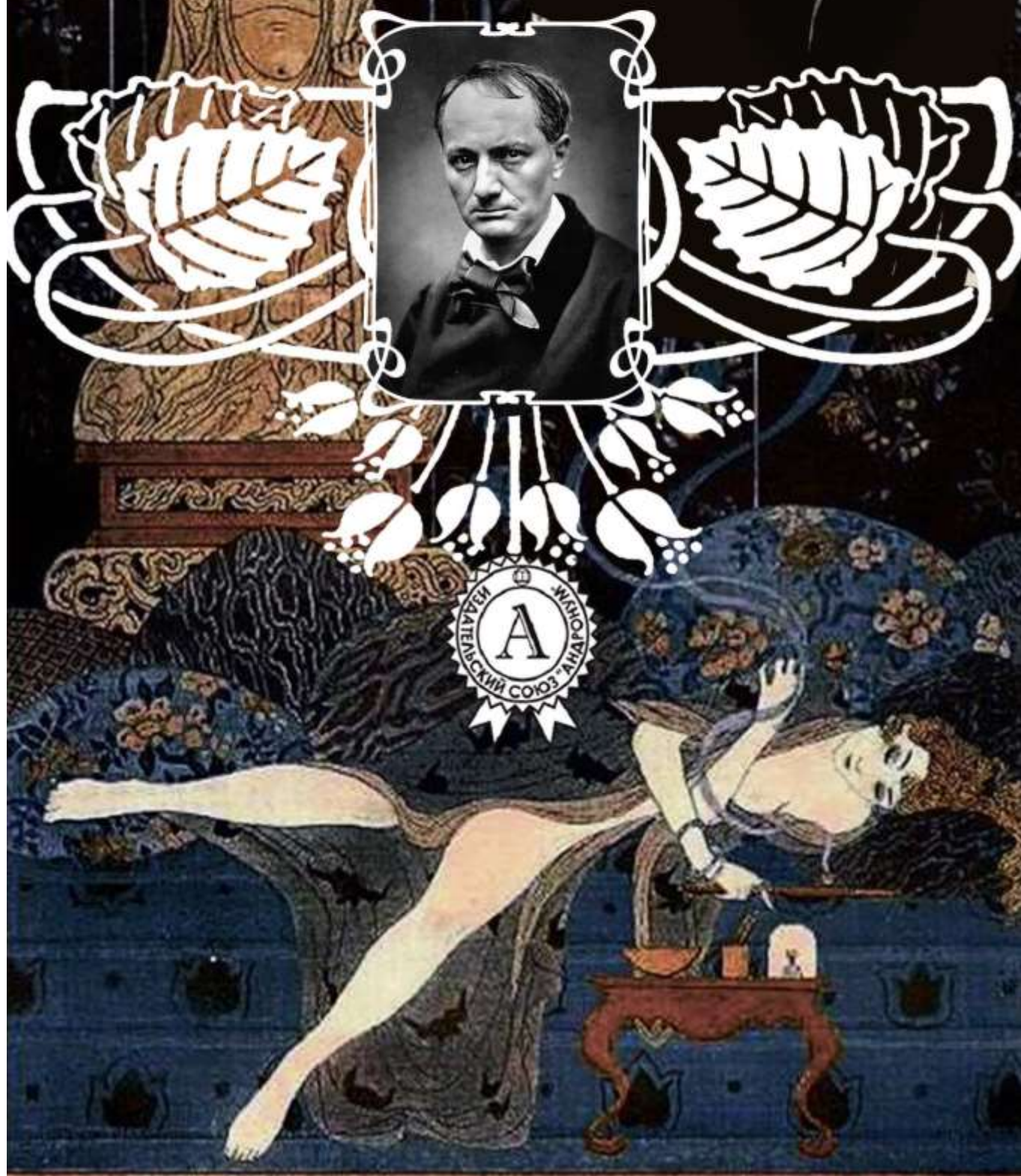


ШАРЛЬ БОДЛЕР

ИСКУССТВЕННЫЙ РАЙ



*«Искусственный рай» — одно из самых неоднозначных творений известного французского поэта и эссеиста Шарля Пьера Бодлера (франц. Charles Pierre Baudelaire, 1821–1867). ****

Это размышления автора о психоделическом опыте людей, подвергшихся воздействию искусственных возбудителей, в частности опиума и гашиша. Подробный анализ влияния наркотических веществ на сознание художника предвосхитил появление похожих произведений в начале двадцатого века.

Другими известными произведениями автора являются поэтические сборники «Цветы зла», «Поэмы в прозе», «Парижский сплин», а также лирические стихотворения «Похвалы моей Франциске», «Песнь после полудня», «Даме креолке», «Малабарской девушке» и «Фонтан».

Шарль Бодлер завоевал всемирное признание благодаря вкладу в развитие французской литературы и поэтическим исследованиям меланхолии, уныния и тленности человеческой жизни.

Шарль Бодлер ИСКУССТВЕННЫЙ РАЙ

ОПИОМАН

I. ОРАТОРСКИЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

«О благодатный, нежный и всесильный опиум! Ты, проливающий целительный бальзам в сердце бедняка и богача, утоляющий боль ран, которые никогда не зарубцуются, и муки, которые вызывают бунт духа. Красноречивый опиум! Ты, обезоруживающий решимость бешенства и возвращающий на одну ночь преступнику надежды его юности и незапятнанные кровью руки; дарующий гордецу минутное забвение Грехов не искупленных, обид не отомщенных; призывающий лжесвидетелей к суду видений, ради торжества принесенной в жертву невинности; уличающий клятвопреступника; отменяющий приговор неправедных судей. С искусством, какого не достигали Фидий и Пракситель, ты ваяешь на лоне мрака из созданных мозгом фантазий города и храмы, превосходящие роскошью Вавилон и Гекатомпилос; и из хаоса сна, полного видений, ты вызываешь на солнечный свет давно забытые образы красоты и благословенные лица близких, стяхнувшие прах могил. Ты, только ты даешь человеку эти сокровища, ты обладаешь ключами рая, о благодатный, нежный, всесильный опиум!» Но прежде чем автор решился испустить в честь драгоценного опиума этот восторженный крик, похожий на крик благородной любви, сколько уловок, сколько ораторских предосторожностей! Прежде всего — эта вечная оговорка людей, которые, приступая к щекотливому признанию, втайне ощущают его сладость: «Ввиду той добросовестности, с какой я писал, я надеюсь, что заметки эти будут не просто интересными, но также, в значительной степени, полезными и поучительными. В этой именно надежде я и решился доверить их бумаге, и это будет моим оправданием в том, что я нарушил деликатную и скромную сдержанность, препятствующую большинству из нас публично признаться в наших прегрешениях и пороках. И правда, ничто так не возмущает чувства англичанина, как зрелище человека, выставляющего напоказ свои раны и нравственные язвы и срывающего с себя стыдливый покров, которым время или снисхождение к человеческой слабости согласились прикрыть их». В самом деле, прибавляет он, обыкновенно преступление и нищета прячутся вдали от взоров общества, и даже на кладбище они покоятся отдельно от прочих смертных, как бы смиренно отказываясь от всякого права на общение с великой человеческой семьей. Но в данном случае — в том, что касается «Опиомана» — нет преступления; есть только слабость, и притом какая извинительная слабость! Это и послужит предметом его биографии, предвещающей его труд; а польза, проистекающая для других из этого опыта, укрепленного столь тяжкою ценой, может с избытком вознаградить общество за оскорбление его нравственных чувств и узаконить исключение.

В этом обращении к читателю мы находим несколько разъяснений относительно таинственного племени опиоманов — этой чисто созерцательной народности, затерявшейся среди деятельного народа. Они многочисленны и даже более многочисленны, чем думают. Это — профессора, философы, лорд, занимающий высокий пост, помощник государственного секретаря; если столь многочисленны случаи из высшего класса общества, разыгрывающиеся на глазах одного-единственного лица, то какую ужасающую статистику могло бы дать народонаселение Англии в целом! Три аптекаря из различных частей Лондона утверждают (в 1821 г.), что число любителей опиума очень велико и трудность отличить людей, употребляющих его для лечения, от тех, кто пользуется им с преступной целью, является для них источником ежедневных неприятностей. Но опиум спустился уже в низы общества, и в Манчестере каждую субботу, после обеда, прилавки аптекарей покрыты наркотическими пилюлями, заготовленными для вечерних покупателей. Для фабричных рабочих опиум является сравнительно дешевым наслаждением, тогда как понижение заработной платы может сделать недопустимым употребление зля и спиртных напитков. Но не думайте, что английский рабочий откажется от опиума и вернется к более грубому наслаждению алкоголем, когда заработная плата снова поднимется. Порабощение свершилось; воля поражена; воспоминание о наслаждении проявляет свою тираническую власть. Если натуры грубые, притупленные ежедневным беспросветным трудом, могут находить в опиуме огромное утешение, то каково же должно быть его действие на утонченный и просвещенный ум, на пламенное и развитое воображение, особенно если оно прошло через горнило плодотворных страданий, на мозг, отмеченный печатью роковой мечтательности, — *louched with pensiveness*¹, употребляя удивительное выражение нашего автора? Таков сюжет замечательной книги, которую мне предстоит развернуть перед взором читателя, как фантастический свиток. Многое я, конечно,

¹ помешанный на мечтательности (англ.)

сокращу, Де Квинси чрезвычайно склонен к отступлениям; слово *humorist*, человек настроений, применимо к нему более чем к кому-либо другому; в одном месте он сравнивает свою мысль с тирсом — простою палкою, получающей весь свой внешний облик и всю свою красоту от обвивающей его роскошной листвы. Чтобы не лишить читателя ни одной из волнующих картин, составляющих сущность книги, мне придется, — ввиду недостатка места, к крайнему моему сожалению, — пропустить немало любопытных отступлений, немало превосходных рассуждений, которые не имеют прямого отношения к опиуму, но способствуют освещению характера опиомана. Однако книга представляет такое яркое явление, что даже в сокращенном виде, в отдельных выдержках, можно себе составить понятие о ней. Весь труд («Confessions of an English Opium-eater, Being an Extract from the Life of a Scholar»²) разделяется на две части: первая — «Confessions»; вторая, составляющая дополнение к ней, — «Suspiria de Profundis». Каждая из них имеет несколько подразделений, и я пропущу те из них, которые имеют характер пояснений или приложений. Разбивка первой части чрезвычайно проста и логична и вытекает из самого предмета исследований: «Предварительные признания», «Наслаждения опиомана», «Герзания опиомана». «Предварительные признания», о которых мне предстоит говорить несколько подробнее, преследуют вполне понятную цель. Необходимо, чтобы человек, к которому относится сообщаемое, был знаком читателю, внушал ему любовь и уважение. Автор, задавшийся целью заинтересовать, увлечь нас таким с первого взгляда однообразным предметом, как описание опьянения, старается внушить нам, что до некоторой степени он заслуживает оправдания, хочет возбудить к своему герою симпатию, которая распространится на все сочинение. Наконец, — и это очень существенно — повествование об известных случаях, которые сами по себе, быть может, довольно обыкновенны, но имеют важное и серьезное значение с точки зрения повышенной чувствительности лица, пережившего их, — повествование это представляет собою как бы ключ к тем ощущениям и необычным видениям, которые впоследствии будут осаждать его мозг. Нередко старик, склонившись над столиком кабачка, видит себя среди давно исчезнувшей обстановки; его опьянение разыгрывается на почве давно угасшей юности. Точно так же и события, рассказанные в «Признаниях», займут немаловажное место в видениях позднейшего времени. Они восстанут перед ним подобно снам, которые являются только измененными, преображенными впечатлениями трудового дня.

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАНИЯ

Нет, не в поисках преступного и бездейственного наслаждения начал он употреблять опиум, а просто для облегчения желудочных страданий, вызванных жестокою привычкою к голодовкам. Эти муки голода начались еще в его ранней молодости, а к двадцати восьми годам страдания и целительное средство впервые появляются в его жизни — после довольно продолжительного периода счастья, обеспеченности и благополучия. При каких обстоятельствах проявились эти страдания, это мы сейчас увидим. Будущему опиоману было семь лет, когда умер его отец, оставив его на попечение опекунов, которые, заботясь о его воспитании, посылали его в разные школы. Очень рано он стал выделяться своими литературными способностями, особенно же — не по летам ранним знанием древнегреческого языка. В тринадцать лет он уже писал по-гречески, в пятнадцать — не только сочинял греческие стихи лирического характера, но и мог свободно и без затруднения разговаривать по-гречески — умение, которым он был обязан привычке ежедневно переводить на греческий язык английские газеты. Необходимость находить в памяти и воображении множество оборотов для выражения на мертвом языке современных понятий и образов выработала словарь, гораздо более сложный и обширный, чем тот, который приобретает обычным корпением над чисто литературными сочинениями. «Этот мальчик, — сказал один из учителей, указывая на него иностранцу, — сумел бы лучше убедить в чем-либо афинскую толпу, чем вы или я — английскую». К несчастью, наш скороспелый эллинист лишился своего превосходного учителя и, пройдя через руки грубого педагога, вечно дрожавшего, как бы мальчик не уличил его в невежестве, был отдан на попечение доброго и солидного учителя, который, однако, тоже грешил отсутствием изящества и ничем не напоминал первого, с его пылкой и блестящей эрудицией. Нехорошо, когда ребенок может судить своих учителей и смотреть на них сверху вниз. Занимались переводами из Софокла, и перед началом занятий усердный учитель, этот *archididascalus*, готовился с помощью грамматики и лексикона к чтению хоров, заранее страхуя свой урок от возможных сомнений и затруднений. Между тем молодой человек (ему исполнилось только что семнадцать лет) горел желанием поступить в университет и тщетно приставал с этой просьбою к своим опекунам. Один из них, человек добрый и рассудительный, жил слишком далеко. Двое других сложили с себя всякую ответственность, переложив ее на четвертого, а этот последний предстает перед нами, как самый упрямый наставник в мире, влюбленный только в собственную волю. Наш предприимчивый юноша принимает смелое

² «Исповедь английского опиомана, взятая из жизни ученого»

решение — бежать из школы. Он обращается с письмом к одной очаровательной и прекрасной женщине, которая была, очевидно, другом его семьи и в детстве держала его на руках, — и просит одолжить ему пять гиней. Скоро был получен ответ, проникнутый материнской лаской, а с ним — двойная сумма против требуемой. В кошельке школьника оставалось еще две гинеи, а двенадцать гиней для ребенка, не знающего житейских трудностей, представляются несметным богатством. Остается только привести в исполнение план бегства. Следующий пассаж принадлежит к тем, которые я не могу решиться сократить. И, кроме того, будет хорошо, чтобы читатель время от времени имел возможность самолично насладиться трогательным и женственным стилем автора. «Доктор Джонсон сделал вполне правильное наблюдение (и притом — проникнутое чувством, чего, к несчастью, нельзя сказать о других его наблюдениях), что, сознательно делая в последний раз что-нибудь, что мы привыкли делать, мы не можем избавиться от чувства грусти. Я глубоко прочувствовал эту истину, покидая то место, которое я никогда не любил и где никогда не был счастлив. Вечером, накануне того дня, когда я должен был бежать, я с грустью слушал в старой высокой учебной зале звуки вечерней молитвы, ибо я слушал ее в последний раз; а' когда перед сном стали делать переключку, и мое имя, как всегда, было произнесено первым, я вышел и, проходя мимо присутствовавшего при этом начальника, поклонился ему; я с любопытством глядел ему в лицо и думал про себя: «Он стар и слаб, я не увижу его больше в этом мире!» Я был прав — мне не пришлось и не придется более увидеть его. Он ласково, с доброй улыбкой взглянул на меня, ответил на мое приветствие или, вернее, на мое прощанье, и мы расстались — неведомо для него — навсегда. Я не мог чувствовать особого уважения к ему уму; но он всегда был добр ко мне, много раз оказывал мне снисхождение, и я страдал при мысли об огорчении, которое я причиню ему. Настало то утро, когда я должен был броситься в жизненное море, утро, которое на долгое время окрасило мою последующую жизнь. Я жил в доме моего начальника, и с самого приезда мне разрешено было иметь отдельную комнату, которая служила мне одновременно спальней и рабочим кабинетом. В половине четвертого я поднялся с постели и с глубоким волнением стал смотреть на городские башни, освещенные первыми лучами зари и уже розовевшие в чистом блеске безоблачного июньского утра. Я был тверд и непоколебим в своих намерениях, хотя и взволнован смутным предчувствием неизвестных препятствий и опасностей, а если бы я мог предвидеть ту бурю, тот град бедствий, который вскоре обрушится на меня, я имел бы полное основание волноваться еще более. Глубокая тишина утра представляла полную противоположность этому волнению, и до некоторой степени успокаивала его. Тишина была даже глубже, чем ночью; а для меня тишина утра трогательнее, чем всякая другая, потому что свет, уже широко разлившийся и такой же яркий, как свет полудня в другие времена года, но отличный от него тем, что на улицах еще не показывались люди, и мир природы и невинных тварей божьих кажется таким глубоким и безмятежным, пока человек с его тревожным, непостоянным разумом не нарушил его святости. Я оделся, взял шляпу и перчатки, но некоторое время еще медлил в своей комнате. В течение полутора лет эта комната была убежищем моих мыслей; здесь я читал и учился в долгие часы ночи: и хотя, по правде сказать, во вторую половину этого периода я, созданный для любви и нежных привязанностей, утратил всю веселость и жизнерадостность в неравной борьбе с моим опекуном, но все же юноша, подобный мне, влюбленный в книги, преданный умственной работе, не мог не переживать иногда и отрадных часов, даже при всем своем отчаянии. Я плакал, глядя на кресло, камин, письменный стол и другие привычные предметы, ибо был слишком уверен, что никогда больше не увижу их. С тех пор — и до того часа, когда я пишу эти строки, — протекло восемнадцать лет, и, тем не менее, будто это было вчера, вижу я очертания того, на что я устремлял свой прощальный взгляд; это был нависший над камином портрет соблазнительницы³, чьи глаза и губы были так прекрасны, а все лицо светилось такою добротой и божественной ясностью души, что, глядя на него, я тысячу раз бросал перо или книгу, чтобы испросить себе утешения перед ее образом, как верующий просит утешения перед изображением своего святого. В то время как я, забывшись, предавался созерцанию портрета, звонкий бой башенных часов возвестил мне, что уже четыре часа утра. Я поднялся, поцеловал портрет, потом тихо вышел и запер дверь — навсегда! Смех и слезы так часто сменяют Друг друга или смешиваются в этой жизни, что я не могу без улыбки вспомнить об одном случае, происшедшем в то время и чуть было не помешавшем немедленному осуществлению моего плана. У меня был сундук ужасающей тяжести, ибо кроме моей одежды в нем заключалась вся моя библиотека. Трудность состояла в том, чтобы как-нибудь дотащить его до извозчика. Комната моя находилась на поднебесной высоте, и самое худшее было то, что лестница, которая вела в эту часть здания, примыкала к коридору, проходившему мимо двери моего начальника. Все слуги обожали меня, и зная, что каждый из них с удовольствием окажет мне тайную услугу, я сообщил о моем затруднении одному из слуг. Он поклялся сделать все, что я пожелаю, и когда наступило время, поднялся по лестнице, чтобы вынести сундук. Я боялся, как бы это не оказалось непосильным для одного человека; но грум этот был здоровенный малый, «с плечами Атланта, созданными для того, чтобы

³ быть может, дамы, давшей десять гиней (прим. Бодлера)

поддерживать тяжесть могущественнейших монархий», а спину его по ширине можно было бы сравнить с равнинами Солсбери. Он уперся на том, что сможет дотащить сундук один, и я ждал его у лестницы на первом этаже, терзаясь беспокойством. В течение некоторого времени я слышал, как он спускается твердым и медленным шагом; но, к несчастью, приблизившись к самому опасному месту, — в нескольких шагах от коридора — он поскользнулся, и грузная ноша, сорвавшись с его плеч, устремилась по ступенькам лестницы с грохотом, какого не могли произвести и двадцать чертей, остановившись, наконец, прямо у дверей спальни, где покоился archididascalus. Первая моя мысль была, что теперь все пропало и единственный выход для осуществления бегства — это бросить мой багаж. Однако, после минуты раздумья, я решил выждать конца приключения. Грум замирал от страха и за себя самого, и за меня, но вопреки этому, комизм ситуации захватил его в эту злополучную минуту с такой непреодолимой силой, что он разразился смехом долгим, оглушительным, раскатистым смехом, — который мог бы, кажется, поднять мертвеца. При звуках этого веселья я и сам не мог удержаться от смеха, не столько из-за прыжков сундука, сколько из-за нервного эффекта, произведенного ими на слугу. Оба мы, естественно, ожидали, что из дверей вот-вот выскочит доктор, ибо обыкновенно, заслышав даже шорох мыши, он выскакивал, как сторожевой пес из своей конуры. Странное дело, — на этот раз, когда затихли взрывы нашего смеха, — в комнате его не слышно было ни звука, шороха. Доктор страдал мучительными припадками, которые часто не давали ему спать, но зато, быть может, если уж ему удавалось заснуть, он спал крепче обыкновенного. Ободренный тишиной, грум снова взвалил сундук себе на плечи и спустился до конца лестницы уже без всяких приключений. Я подождал, пока сундук поставили на тачку и повезли к извозчику. Тогда, не имея иного путеводаителя, кроме Провидения, я пустился в путь пешком, с небольшим пакетом с принадлежностями туалета под мышкой и с томиком любимого английского поэта в одном кармане и с книжкой в двенадцатую долю листа с девятью трагедиями Эврипида — в другом». Наш школьник лелеял мысль пробраться в Вестморленд; но некое приключение, о котором он не рассказывает нам, заставило его изменить план и направился к северу, а Галлию. Проблуждав некоторое время в Денбичшире, Мерионетшире и Карнаваншире, он устроился, наконец, в маленьком чистеньком домике в Б***, но вскоре должен был убраться и оттуда, ввиду одного обстоятельства, самым забавным образом оскорбившего его юношескую гордость. Хозяйка его служила раньше у епископа, в качестве не то гувернантки, не то экономки. Необычайное высокомерие английского духовенства заражает обыкновенно не только детей церковных владык, но и прислугу их. В таком маленьком городке, как Б***, было, конечно, достаточно прожить некоторое время в семье епископа, чтобы таким образом почувствовать превосходство над другими, и у доброй женщины не сходили с уст фразы вроде: «Милорд делал то, милорд говорил это; милорд был незаменим в парламенте, незаменим в Оксфорде...» Может быть, ей казалось, что молодой человек выслушивает ее без достаточного благоговения. Однажды она отправилась засвидетельствовать свое почтение епископу и его семье, и тот стал ее расспрашивать о ее домашних делах. Услышав, что она сдала комнату, достойный прелат заботливо посоветовал ей быть разборчивой при выборе жильцов: «Бетти, сказал он, — подумайте только, ведь наш городок лежит на большой дороге в столицу, и весьма возможно, что он служит пристанищем для ирландских мошенников, убегающих от своих кредиторов в Англию, и для английских мошенников, наделавших долгов на родине». И вот добрейшая женщина, с гордостью передавая свою беседу с епископом, не преминула повторить и свой ответ ему: «О, милорд, я, право, не думаю, чтобы этот господин был мошенником, потому что...» — «Вы не думаете, чтобы я мог быть мошенником! — с бешенством отвечал молодой человек. — С этой минуты я освобождаю вас от необходимости думать на эту тему!» И он стал готовиться выехать. Бедная хозяйка охотно пошла бы на попятную, но в порыве гнева он не совсем почтительно высказался в адрес епископа, и примирение стало невозможным. «Я был действительно возмущен тою легкостью, с какою епископ бросал грязью в человека, совершенно неизвестного ему, — пишет он, — и у меня явилось желание выразить ему это на греческом языке, что устранило бы сомнение в моей порядочности и в то же время (таков был, по крайней мере, мой расчет) поставило бы епископа перед необходимостью ответить мне на том же языке, а этим — для меня не было сомнения — он обнаружил бы, что если я не так богат, как его святейшество, то, во всяком случае, являюсь лучшим эллинистом. Более здравые мысли вытеснили этот ребяческий план...» Снова началась для него бродячая жизнь; кочуя из гостиницы в гостиницу, он быстро растратил деньги. Через две недели он уже был вынужден ограничиваться одним блюдом в день. Движение и горный воздух, возбуждающие его молодой аппетит, сделали для него этот режим очень мучительным, ибо его единственным блюдом постоянно были чай или кофе. Наконец, даже чай и кофе становятся недоступной роскошью, и в течение всего своего пребывания в тех местах он поддерживает свое существование только ежевикой и ягодами шиповника. Время от времени чье-либо радушное гостеприимство прерывает, как долгожданный праздник, этот отшельнический пост, и за это гостеприимство он расплачивается мелкими услугами в качестве писца. Он исполняет обязанности секретаря для крестьян, имеющих родственников в Лондоне или Ливерпуле. Чаще всего это любовные письма, которые он сочиняет по просьбе девушек, служивших в Шрусбери или в каком-нибудь другом городе Англии и переписывавшихся с далекими любовниками. Один эпизод такого

рода носит даже трогательный характер. В одной отдаленной от центра части Мерионетшира, в Llan-y-Stindwer, он жил в течение трех дней у молодых людей, которые проявили самое сердечное отношение к нему; это были четыре сестры и три брата; все они говорили по-английски и отличались замечательным природным изяществом и красотой. Он сочинил письмо для одного получения своей доли добычи, и — тайно от других — два любовных письма для двух сестер. Эти наивные существа, с их сердечной чистотой, с их природным благородством заливались румянцем, диктуя свои излияния, и это вызывало воспоминания о чистой и нежной прелести старинных альманахов. Он так хорошо выполнил свою работу, что невинные девушки пришли в совершенный восторг от его умения согласовать требования их чрезмерной стыдливости с тайным желанием выразить свою любовь. Но однажды утром он заметил странное смущение, почти грусть: вернулись старики-родители, люди строгие и ворчливые, уезжавшие на ежегодное собрание Кернервонских методистов. На все фразы, с которыми молодой человек к ним обращался, он получал один ответ: «Dum Sassenach» (не по-английски). «Несмотря на все то, что молодые люди могли сказать в мою пользу, я легко понял, что мой талант писать любовные письма так же мало поднимет меня в глазах этих суровых пятидесятилетних методистов, как и мои сапфирические или алкаические стихи». И из опасения, как бы это милое гостеприимство молодецки не превратилось в более грубых руках стариков в жестокую милостыню, он был вынужден возобновить свое удивительное странствие. Автор не говорит нам о том, как ухитрился он, несмотря на свою нищету, попасть, наконец, в Лондон. Но здесь лишения, как ни велики они были раньше, становятся просто ужасными, превращаются почти в повседневную агонию. Представьте себе шестнадцать недель постоянного мучительного голода, временами утолявшегося только каким-нибудь куском хлеба, перепадавшим ему со стола человека, о котором мы будем сейчас говорить; вообразите себе два месяца, проведенных под открытым небом; прибавьте к этому сон, отравленный кошмарами. Дорого обошлась ему его школьная затея. Когда наступило суровое время года словно для того, чтобы еще увеличить его страдания, сильнее которых, казалось, быть уже не может, ему посчастливилось, наконец, найти себе убежище, но какое убежище! Человек, за завтраком которого он присутствовал и у которого ему удавалось стащить иногда кусок — другой хлеба (этот господин считал его больным и не знал, что он просто беден), разрешил ему ночевать в большом пустом доме, который он снимал. Из мебели там был только стол и несколько стульев; это было пыльное нежилое помещение, полное крыс. Среди этого запустения жила несчастная девочка, не совсем идиотка, но более чем простая, некрасивая, лет десяти, если только изнурение от голода не делало ее на вид старше, чем она была в действительности. Была ли это просто служанка или незаконная дочь упомянутого господина, автору так и не удалось узнать этого. Несчастная, всеми покинутая девочка очень обрадовалась, узнав, что теперь у нее будет товарищ, который будет коротать с нею черные часы ночи. Дом был большой, и при отсутствии мебели и драпировок всякий звук отдавался в нем особенно гулко; возня крыс наполняла шумом залы и лестницу. Посреди физических мук — от холода и голода — несчастная малютка умудрилась создать себе еще и воображаемое страдание: она боялась привидений. Молодой человек обещал защищать ее от них. «Это была единственная услуга, которую я мог оказать ей!» — прибавляет он с горькой иронией. Эти два несчастных существа, исхудалые, голодные, дрожащие от холода, спали на полу; кипы старых бумаг служили им изголовьем, а одеяло заменял собою старый кавалерийский плащ. Потом, впрочем, они отыскивали на чердаке старый диванный чехол, обрывок ковра и еще кое-какие тряпки, которые немножко прикрывали их от холода. Бедное дитя прижималось к нему, чтобы согреться и укрыться от своих врагов с того света. Иногда, когда он не чувствовал себя особенно больным, он обнимал ее, и малютка, пригревшись в этих братских объятиях, часто засыпала, между тем как ему не удавалось уснуть. Ибо за два последних месяца его страданий он часто засыпал днем или, вернее, впадал в забытие; это был нехороший сон, полный мучительных сновидений; он беспрестанно просыпался и снова засыпал: боль и тревога внезапно пробуждали его, а истощение снова неодолимо уводило в сон. Кому из нервных людей не знаком этот собачий стон, по меткому, сильному выражению английского языка? Ибо нравственные страдания производят то же действие, что и физические муки, например муки голода. Человек слышит свои собственные стоны; иногда он просыпается от звука собственного голоса; желудок все время сокращается, словно губка, выжимаемая сильной рукой; диафрагма опускается и поднимается; человеку не хватает воздуха, мучения все увеличиваются, пока несчастный, как бы найдя целебное средство в самой боли, не заходится в ужасном крике и мучительной судороге всего тела, приносящих, наконец, жестокое облегчение. Иногда рано утром внезапно появлялся хозяин; иногда он совсем не приходил. Он всегда был настороже, так как ожидал судебного пристава, и, совершенствуя приемы Кромвеля, каждую ночь спал в новом квартале. Он рассматривал через скважину людей, стучавшихся в дверь; завтракал всегда один, довольствуясь чаем и маленьким хлебцем или печеньем, которое он покупал по дороге, и никогда никого не приглашал к себе. Во время этого поразительного скудного завтрака молодой человек искусно изыскивал какой-нибудь предлог, чтобы остаться в комнате и завязать разговор; затем, с самым равнодушным видом, какой только ему удавалось принять, он брал со стола остатки хлеба; но случалось и так, что ему не оставалось ни кусочка — все было съедено. Что касается девочки, то ее никогда не пускали в кабинет хозяина, если только можно

назвать так свалочное место для всяких писем и бумаг. В шесть часов этот таинственный субъект удалялся, заперев комнату на ключ. Утром, когда он появлялся, девочка шла прислуживать ему. В то время, пока он погружался в занятия и дела, молодой бродяга выходил из дома и отправлялся в парк блуждать или сидеть — или куда-нибудь в другое место, К ночи он возвращался в свое пустынное убежище, и на стук дверного молотка девочка со всех ног бежала открыть ему входную дверь. В более зрелом возрасте автору захотелось однажды вечером, в день своего рождения — пятнадцатого августа — бросить взгляд на это место своих былых страданий. В ярком свете красивой залы он увидел людей, которые пили чай с самым счастливым видом, — странный контраст с мраком, холодом, тишиной и отчаянием, которые царили в этом самом помещении, когда восемнадцать лет тому назад в нем жили изголодавшийся школьник и покинутая девочка. Потом он пытался напасть на следы этого несчастного ребенка. Осталась ли она в живых? Суждено ли ей было стать матерью? Он ничего не узнал об этом. Он любил ее только как своего сотоварища по несчастью, потому что она не была ни красива, ни привлекательна, ни умна. В ней могло прельщать только то, что она была человеком, чистая человечность — в самом убогом ее воплощении. Но, кажется, Робеспьер, в своем абстрактном жгуче-морозном стиле, сказал: «Человек всегда радуется при виде человека». Но кем был и чем занимался этот хозяин, человек со столь таинственными привычками? Это был один из тех дельцов, которых так много во всех больших городах и которые вечно заняты самым запутанным крючкотворством, обходя законы и забыв на время благоприятные обстоятельства позволять им снова воспользоваться этой стеснительной роскошью. Автор мог бы при желании, как он говорит, порассказать нам много забавного об этом несчастном человеке, передать нам разные любопытные сцены и бесподобные эпизоды; но он предпочел все предать забвению и помнить только об одном: о том, что этот человек, столь презренный в других отношениях, всегда хорошо относился к нему и, насколько это было возможно, был даже великодушен. За исключением святилища, наполненного его бумагами, все комнаты были в распоряжении детей, которые, таким образом, имели большой выбор помещений и могли устраиваться на ночь, где хотели. Но у молодого человека была еще одна подруга, о которой нам уже пора поговорить. Чтобы достойно передать этот эпизод, я хотел бы позаимствовать перо из крыла ангела, до того эта картинка представляется мне целомудренной, полной невинности, нежной красоты и сострадания, «Я всегда ставил себе в заслугу, — говорит автор, — что умел непринужденно, *more socratico*, беседовать со всеми людьми — мужчинами, женщинами и детьми, с которыми сводил меня случай, — привычка, благоприятствующая познанию человеческой природы, развитию добрых чувств и свободных манер, которые полезны человеку, желающему заслужить имя философа, Ибо философ не должен смотреть на вещи глазами жалкого ограниченного создания, именующего себя светским человеком и набитого узкими и эгоистичными предрассудками; он должен, напротив, видеть в себе поистине вселенское существо, находиться в общении и связи со всем, что выше, и со всем, что ниже его, и с образованными людьми, и с людьми, лишенными всякого воспитания, с преступными, как и с невинными». Мы увидим впоследствии, как среди наслаждений, даруемых великодушным опиумом, развивается и этот дух вселенского милосердия и братства, усиленный и углубленный своеобразным гением опьянения. На улицах Лондона, еще более чем в Галлии, вырвавшийся на свободу школьник является своего рода перипатетиком, уличным философом, предающимся в вихре большого города непрерывным размышлениям. Эпизод, о котором теперь идет речь, кажется странным на страницах английской книги, ибо мы знаем, что британская литература доводит свое целомудрие до ханжества: но не подлежит сомнению и то, что этот же самый сюжет под пером француза быстро сделался бы shocking⁴, тогда как здесь все исполнено нежной красоты и благородства. Словом, чтобы выразиться как можно короче, наш бродяга связал себя узами платонической дружбы с жрицею свободной любви. Анна не была одною из тех дерзких, ослепительных красавиц с глазами демона, сверкающими сквозь туманную дымку, создающих себе ореол самим своим бесстыдством. Анна была самым простым, самым обыкновенным существом, обманутым, покинутым — как многие другие — и доведенным до падения изменою. Но от нее исходила, та неизъяснимая прелесть, та прелесть слабости и доброты, которую Гете умел сообщать всем своим героиням и которая превращает в бессмертный образ его маленькую Маргариту с красными руками. Как часто во время своих однообразных прогулок по бесконечной Оксфорд-стрит, посреди гомона большого, кипящего суетой города, изголодавшийся школьник убеждал свою несчастную подругу подать в суд на своего соблазнителя и предлагал себя в качестве свидетеля и адвоката, Анна была еще моложе его: ей было всего шестнадцать лет. Сколько раз она охраняла его от полицейских, прогонявших его от ворот, у которых он присаживался. Один раз она сделала даже больше, бедняжка: она сидела со своим другом в Сого-сквер, на ступеньках дома, мимо которого, — прибавляет он, — с того самого дня он никогда не мог проходить, не испытывая замиранья сердца и умиления при мысли об этой несчастной и великодушной девушке. В этот день он чувствовал себя еще более слабым и больным, чем обыкновенно; но едва он сел, как ему сделалось

⁴ шокирующим (англ.)

еще хуже. Он склонил голову на грудь своей сестры по несчастью, но вдруг выскользнул из ее объятий и упал навзничь на ступеньки подъезда. Без сильного подкрепляющего средства он уже не встал бы или, во всяком случае, впал бы в состояние неизлечимого расслабления. И в эту-то критическую минуту его жизни она — это падшее создание, ничего не выдавшее от людей, кроме обид и несправедливости протянула ему руку помощи. Она вскрикнула от ужаса и, не теряя ни секунды, побежала на Оксфорд-стрит, откуда немедленно возвратилась со стаканом крепкого портвейна, который оказал необыкновенно благотворное действие на его желудок, уже неспособный перенести никакой твердой пищи. «О, моя юная спасительница! Сколько раз в последующие годы, заброшенный в глушь и думая о тебе с нежной грустью и настоящей любовью, сколько раз мечтал я о том, чтобы благословение моего переполненного благодарностью сердца приобрело ту особенную сверхчувствительную силу, какую древние приписывали проклятию отца — силу повсюду настигать человека с непререкаемостью судьбы! — чтобы моя благодарность также получила от неба этот дар следовать за тобою, настигать, подстергать, находить тебя даже, если возможно, во мраке самой могилы, чтобы пробудить тебя вестью истинного мира, прощения и высшего примирения!» Чтобы чувствовать таким образом, нужно многое перестрадать, нужно иметь сердце, способное раскрываться и смягчаться от несчастий, в противоположность тем, которых несчастье замыкает и ожесточает. Бедуин цивилизации находит в пустыне больших городов достаточно поводов к сочувствию, совершенно незнакомому человеку, замкнувшемуся в своем доме и семье, в обманчивом блеске столиц, как и в пустыне, есть нечто укрепляющее и закаляющее человеческое сердце, закаляющее его совершенно по-особенному, если только оно не поддалось развращению и не ослабело до степени падения, не поддавалось искушению самоубийства. Однажды, вскоре после описанного случая, он встретил на Альбемарль-стрит старого друга своего отца, который узнал его по фамильному сходству: юноша чистосердечно ответил на все его вопросы, ничего не скрыл от него, но взял с него слово, что он не выдаст его опекунам. В заключение он дал ему свой адрес — адрес своего хозяина, этого странного ходатая по делам. На следующий день он получил в письме, которое хозяин добросовестно передал ему, чек на десять фунтов. Читатель, может быть, удивится, что молодой человек с самого начала не искал спасения от нищеты в какой-нибудь постоянной работе или в поддержке со стороны старых друзей семьи. Что касается этой последней возможности, то она, несомненно, была связана с очевидной опасностью, Опекунов могли известить, а закон давал им полное право силой водворить юношу в школу, из которой он бежал. И вот сила воли, часто встречающаяся у людей с самым женственным и чувствительным характером, заставляла его мужественно выносить все лишения и опасности, чтобы только не пойти на риск этой унижительной возможности. Да и, к тому же, где было искать этих друзей отца, со смерти которого прошло уже десять лет, друзей, даже имена которых он, большею частью, позабыл? Что же касается работы, то он, конечно, мог бы получить значительное вознаграждение за корректуру на греческом языке: он чувствовал, что может прекрасно выполнить такую работу, но как добиться рекомендации к порядочному издателю? И, наконец, попросту говоря, он сам признается, что ему никогда и в голову не приходило, чтобы литературная работа могла обеспечить ему постоянный заработок. Он никогда не думал выйти как-нибудь из своего плачевного положения иначе, как заняв деньги под состояние, на которое он мог рассчитывать по достижении совершеннолетия. Наконец, ему удалось завязать знакомство с несколькими евреями, которым его хозяин оказывал услуги в их темных делах. Убедить их в том, что расчеты его реальны, было нетрудно, так как его уверения могли быть проверены на завещании его отца в Doctors' common (адвокатская контора, в которой было зарегистрировано завещание отца автора)). Но оставался совершенно непредвиденный им вопрос — об удостоверении его личности. Он предъявил тогда несколько писем, полученных им во время пребывания в Галлии от молодых друзей, в том числе от графа *** и даже от отца его, маркиза ***, которые он всегда носил в кармане. Евреи пообещали, наконец, ссудить ему двести-триста фунтов, при условии, что молодой граф *** (который, к слову сказать, был постарше автора) поручится, что деньги будут возвращены по достижении молодыми людьми совершеннолетия. Легко догадаться, что кредитор рассчитывал в этом деле не столько на прибыль, в конце концов, слишком ничтожную, сколько на возможность вступить в сношения с молодым графом, бывшим наследником несметного богатства. И вот, получив, наконец, десять фунтов, наш юный странник собрался в Этон. Около трех фунтов оставлено будущему кредитору на расходы по заключению актов; некоторая сумма вручена также хозяину — за его помещение без мебели; пятнадцать шиллингов ушло на то, чтобы обновить костюм (чудный костюм!): наконец, несчастная Анна тоже получила свою долю при распределении этого богатства. В темный зимний вечер направился он с бедной девушкой к Пикадилли, собираясь доехать с бристольской почтой до Солт-Хилла. Так как у них оставалось еще время, они зашли в Голден-сквер на углу Шерард-стрит, чтобы укрыться от шума и света Пикадилли. Он обещал не забывать ее и прийти ей на помощь, как только это окажется возможным. В самом деле, это был его долг. Властный, настоятельный долг, и в эту минуту он был полон нежности к этой случайной сестре, нежности, усиливаемой жалостью к ее ужасному отчаянию. Несмотря на все потрясения, которым подверглось его здоровье, он был весел и полон надежд, тогда как Анна была смертельно грустна. В момент прощания она обвила его шею руками и, не произнося ни слова,

залилась слезами. Он надеялся вернуться не позже, чем через неделю, и они условились, что начиная с пятого дня после его отъезда, она каждый вечер будет приходить к шести часам и ждать его в конце Грейт-Тич-филд-стрит, бывшей их обычным прибежищем и местом отдыха в великом океане Оксфорд-стрит. Он думал, что таким образом все было уже предусмотрено, чтобы он мог вновь найти ее; одно только он упустил из виду; Анна никогда не называла ему своей фамилии, или, если и называла, он позабыл ее, как нечто несущественное. Проститутки с большими претензиями, зачитывающиеся романами, любят называть себя такими именами, как miss Дуглас, miss Монтегью и т. п., но наиболее простые из этих несчастных бывают известны просто под своим именем: Мери, Джейн, Фрэнсис и т. п. К тому же в момент расставания Анна была простужена и сильно охрипла, и, поглощенный в эту тяжелую минуту мыслью о том, как бы подбодрить ее и убедить принять какие-нибудь меры против простуды, он совершенно забыл спросить ее фамилию, что было бы самым верным средством восстановить связь в случае несостоявшегося свидания или продолжительного перерыва в их сношениях. Я сокращаю подробности путешествия, в том числе рассказ о нежном и сострадательном обхождении толстого дворецкого, в отеческих объятиях которого наш герой, истомленный усталостью и тряской кареты, спал, как на груди кормилицы, и затем — о продолжительном сне на чистом воздухе, ибо ему пришлось пройти пешком шесть-семь миль, заспавшись в объятиях своего соседа. Достигнув конечной цели своего путешествия, он узнает, что молодого лорда нет более в Этоне, В отчаянии он идет в дом к лорду Д***, другому старому товарищу, с которым он не был однако так тесно связан. В первый раз за несколько месяцев он снова сидел за хорошим столом, и однако он ни к чему не мог прикоснуться. Еще в Лондоне, в тот день, когда он получил спасительный чек, он купил два небольших хлебца в булочной, которую он в течение двух месяцев пожирал глазами с такой жадностью, что впоследствии самое воспоминание об этом казалось ему унижительным. Но этот давно желанный хлеб вызвал у него расстройство желудка, и в течение нескольких недель он не мог, без риска опять подвергнуться заболеванию, прикоснуться к какой бы то ни было полноценной еде. И теперь, посреди комфорта и роскоши, у него не было ни малейшего аппетита. Узнав о плачевном состоянии его желудка, лорд Д*** приказал подать вина, доставившего ему большое удовольствие. Что касается реальной цели его путешествия, то ему не удалось вполне заручиться той услугой, о которой он хотел просить графа*** и о которой, ввиду отсутствия последнего, вынужден был просить лорда Д***. Не желая сразить его решительным отказом, лорд согласился дать свое поручительство, но лишь в известных выражениях и на известных условиях. Подбодренный даже этим частичным успехом, он возвратился в Лондон после трехдневного отсутствия и отправился к своим друзьям — евреям. К несчастью, кредиторы отказались принять условия лорда Д***, и ему угрожало прежнее ужасное существование, которое теперь было бы еще губительнее для него, но в этот критический момент, благодаря случайности, о которой он ничего не сообщает нам, он получил письмо от своих опекунов, и полное примирение изменило всю его жизнь. Он немедленно уехал из Лондона и некоторое время спустя поступил, наконец, в университет. Только через несколько месяцев он получил возможность снова увидеть место своих страданий. Но что случилось с бедной Анной? Каждый вечер он искал ее; каждый вечер он поджидал ее на углу Тичфилд-стрит. Он справляется о ней у всех, кто мог ее знать: в последние часы своего пребывания в Лондоне он пустил в ход все средства, какие только были в его распоряжении, чтобы найти ее. Он знал улицу, на которой она жила, но не знал ее дома: кроме того, ему смутно вспоминалось, что незадолго до их расставания она вынуждена была бежать от грубости своего хозяина. Среди людей, к которым он обращался, одни только смеялись над его горячими расспросами, считая мотивы его поисков безнравственными; другие, думая, что он разыскивает девушку, укравшую у него какую-нибудь безделушку, были, конечно, мало расположены брать на себя роль доносчиков. Наконец, перед тем, как окончательно покинуть Лондон, он оставил свой будущий адрес человеку, который знал Анну в лицо, но, несмотря на все это, он никогда больше не слышал о ней. Среди всех превратностей его жизни, это было для него самым большим из огорчений. Заметьте, что это человек серьезный, столь же заслуживающий уважения чистотою нравственного характера, как и возвышенностью своих писаний: «Если только она осталась в живых, мы оба часто искали друг друга в бесконечном лабиринте Лондона; быть может, нас разделяло пространство в несколько шагов, достаточное на лондонской улице, чтобы разъединить людей навеки! В течение нескольких лет я все еще надеялся, что она жива, и за время моих путешествий по Лондону я пересмотрел тысячи женских лиц, в надежде встретить ее лицо. Если бы я хоть на мгновение увидел ее, я узнал бы ее среди тысячи других, ибо хотя она не была красива, но у нее было удивительно кроткое выражение лица и необычайно изящный поворот головы. Я искал ее, повторяю, не теряя надежды найти. Да, в течение многих лет! Но теперь я боялся бы увидеть ее, и та страшная простуда, которая пугала меня, когда мы расставались, составляет теперь мое утешение. Я не стремлюсь более увидеть ее, но я мечтаю о ней, не без сердечной отрады, как о человеке, который давно уже покоится в могиле, в могиле Магдалины, хотелось бы мне верить, ушедший из мира прежде, чем оскорбления и грубость успели замарать и развратить ее невинную чистую душу, прежде чем зверская наглость негодаев совершили разрушение той, которой они нанесли первые удары, Итак, я, наконец, освободился от тебя, Оксфорд-стрит, злая мачеха с каменным

сердцем, выслушивающая вздохи сирот и впитывающая в себя слезы детей! Настало время, когда мне не нужно больше обивать твои бесконечные тротуары, мучиться ужасными снами и голодной бессонницей! Немало людей шло по тому же пути, что и мы с Анной, немало преемников наших бедствий: другие сироты вздыхали, другие дети проливали слезы; и в тебе, Оксфорд-стрит, отдавались эхом стоны бесчисленных сердец. Но для меня пережитая буря казалась теперь как бы залогом продолжительного благополучия...». Но Анна — исчезла ли она окончательно? Нет, мы снова встретимся с ней — в фантастическом мире, созданном опиумом. Станным, преображенным призраком восстанет она перед нами в дыму воспоминаний, подобно джину «Тысячи и одной ночи», появляющемуся из паров бутылки. Что касается самого опиомана, то страдания юного возраста пустили в нем глубокие корни, из которых вырастут деревья, и эти деревья окутают своей мрачной тенью все явления жизни. Но эти новые страдания, на которые намекает уже последняя часть биографии, будут перенесены мужественно, с твердостью зрелого духа, с величавостью, проникнутой глубокой и нежной добротой. Эти страницы являются самым благородным призывом, изливанием самой нежной благодарности мужественной подруге, никогда не покидающей изголовья человека, преследуемого эвменидами. Орест опиума нашел свою Электру, которая и освежала его губы, иссушенные лихорадкой. «Ибо ты была моей Электрой, дорогая подруга моих прошлых лет. И ты не захотела, чтобы английская супруга была превзойдена греческой сестрой в благородстве духа и в терпеливой преданности». Когда-то, в злключениях юности, бродя лунными ночами по Оксфорд-стрит, он часто глядел (и это было его скудным утешением) на дороги, пересекающие сердце *May-le-bone* и уходящие за пределы города; и блуждая мысленно по этим бесконечным проспектам, пересеченным полосами света и теней, он говорил себе: «Вот дорога на север, дорога к ***, и если бы у меня были крылья горлицы, я направил бы туда свой путь, чтобы обрести утешение!» Человек, как все люди, слеп в своих желаниях! Ибо как раз на севере, там, в той самой долине, в том самом доме, о котором он мечтал, суждено было ему испытать новые мучения, встретить целое общество ужасных призраков. Но там же живет Электра с ее целительной добротой. И теперь, когда одинокий задумчивый человек бродит по огромному Лондону с сердцем, отягченным неизъяснимою тоской, которую может облегчить только нежный бальзам семейной любви, когда он бросает взгляд на улицы, уходящие на север от Оксфорд-стрит и думает о возлюбленной Электре, что ждет его в той же долине, в том же доме, человек этот восклицает, как когда-то в детстве: «О, если бы у меня были крылья горлицы, я перенесся бы туда, чтобы обрести себе утешение!». Пролог закончен, и с уверенностью могу обещать читателю, не опасаясь разочаровать его, что занавес, поднявшись, откроет его глазам самое удивительное, самое сложное, самое великолепное видение, какое когда-либо вырисовывалось на снегу бумаги под скромным пером писателя.

III. НАСЛАЖДЕНИЯ ОПИОМАНА

Итак, — как я уже упоминал выше — лишь жгучая потребность облегчить страдания организма, глубоко потрясенного тяжелыми невзгодами жизни, привела автора этих записок сначала к довольно частому, а впоследствии к ежедневному употреблению опиума. Непреодолимое желание вернуться к таинственным восторгам, которые он впервые переживал, заставило его повторять эти эксперименты — этого он не отрицает; он даже чистосердечно сознается в этом, указывая только, в свое оправдание, на смягчающие его вину обстоятельства. В первый раз он познакомился с опиумом при самых прозаических условиях. У него как-то заболели зубы, и он приписал эту боль внезапному перерыву в установленном режиме; у него с детства образовалась привычка ежедневно погружать голову в холодную воду, и в этот день он имел неосторожность, несмотря на зубную боль, прибегнуть к этой гигиенической процедуре, после этого он лег спать с совершенно мокрыми волосами. Последствием такой неосторожности явилась невыносимая ревматическая боль в голове и в лице, терзавшая его в течение двадцати дней. На двадцать первый день, в дождливое воскресенье — это было осенью 1804 года — гуляя, чтобы отвлечься от своих страданий по улицам Лондона (со времени своего поступления в университет он впервые осматривал город), он встретил одного из своих товарищей, который посоветовал ему для успокоения болей принять опиум. И действительно, через час после приема опиума в дозе, указанной аптекарем, боли совершенно прекратились. Но это облегчение, еще так недавно казавшееся ему величайшим благом, показалось ему таким ничтожеством теперь по сравнению с теми новыми наслаждениями, которые так неожиданно открылись для него! Какой невероятный подъем духа! Какое удивительное богатство внутренних миров! Не нашелся ли, наконец, тот *pharmakon nerpentes*, то магическое средство, которое должно принести человеку исцеление от всякого рода страданий? «Великая тайна счастья, о которой в течение стольких веков спорили философы, теперь несомненно найдена! Да, счастье можно теперь купить за один пенни и унести с собой в кармане жилета. Экстаз можно закупорить в бутылку, душевный мир — пересылать по почте! Быть может, читатель подумает, что я издеваюсь, — о нет, это лишь старая привычка прибегать к шутке среди страданий. Наоборот, я готов даже подтвердить, что недолго будет смеяться тот, кто познакомится с опиумом. Те